



**Н. К.
МИХАЙЛОВСКИЙ**



Николай Михайловский
Н. В. Шелгунов

«Public Domain»

1891

Михайловский Н. К.

Н. В. Шелгунов / Н. К. Михайловский — «Public Domain», 1891

ISBN 978-5-457-04997-0

«Сочинения писателя, воспитанного подобною эпохой, естественно, должны представлять особенный интерес, хотя бы уже в силу того отпечатка, который должно положить на них участие в общей крупной работе. И прежде всего для нас интересно отношение такого писателя к этой общей работе...»

ISBN 978-5-457-04997-0

© Михайловский Н. К., 1891

© Public Domain, 1891

Содержание

I	5
II	11
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Николай Константинович Михайловский

Н. В. Шелгунов

I

В одном из своих «Очерков русской жизни» Н. В. Шелгунов¹³ приводит следующие слова «Гражданина» о шестидесятих годах: «Тогда все кипело жизнью, и именно жизнью духовною, тогда лучшие люди шли на общественную службу, тогда в каждом русском человеке билось сильно сердце, тогда либералы создали целую Ниагару мыслей, стремлений, целей в русле русской умственной жизни и этим самым вызвали к жизни и противников этого громадного урагана, – словом, тогда все, что дремало до того, проснулось, и на борьбу выступили все силы добра и зла, на борьбу живую и, можно без преувеличения сказать, народную, в смысле животрепещущих вопросов судьбы русского государства, эпохою создавшихся».

Н. В. Шелгунов делает эту выписку из «Гражданина» с особою целью, для иллюстрации одного частного своего соображения. Но гораздо более общее чувство внутреннего удовлетворения, наверное, говорило в нем при этом. Приятно и мне начать вступительную статью к сочинениям одного из видных представителей шестидесятих годов этою выпискою из газеты, более чем неблагоприятной к тогдашнему умственному движению. Приснопамятные шестидесятиные годы будут еще, вероятно, долго служить предметом самых разнообразных суждений, в числе которых немало будет и решительных осуждений. Такова всегдашняя участь всего яркого и крупного – людей, событий, эпох. Мелкие люди, заурядные события, тусклые эпохи не вызывают пререканий и противоречивых суждений, а около всего цветного и крупного стоит гул и шум споров. С течением времени этот шум, разумеется, затихает и наконец совсем прекращается. Однако такое событие, как, например, первая Французская революция, доселе, спустя сто лет, подвергается самым разнообразным и противоречивым суждениям. У нас, впрочем, есть пример ближе – петровская реформа. Сколько пламенных восторгов и сколько несдержанной брани вызывает она даже по сей час! Одни видят в ней безупречно розовую зарю русской истории, другие – почти преступное и, во всяком случае, прискорбное удаление «из дому». И это только два крайние мнения, а существует еще много других, менее одноцветных, пытающихся придать сложному явлению соответственно сложное значение, или более частных, имеющих в виду главным образом гигантскую личность Петра либо ту или другую подробность реформы. Одно стоит вне всяких споров и сомнений: в подобные исторические моменты жизнь бьет ключом, совершается нечто значительное, как бы кто ни расценивал содержащееся в этом значительном добро и зло. К таким именно полным жизни и значения историческим моментам принадлежат шестидесятиные годы. Это должны признать даже отъявленные враги всего, что тогда народилось и расцвело. Если они далеко не всегда столь откровенны и беспристрастны, как «Гражданин» в сделанной выше выписке; если они, напротив, в большинстве случаев всячески стремятся унижить, «развенчать» шестидесятиные годы, то самая страстность этих их усилий, доходящая иногда чуть не до бешенства, свидетельствует о крупных размерах того, с чем они задним числом борются.

Сочинения писателя, воспитанного подобною эпохою, естественно, должны представлять особенный интерес, хотя бы уже в силу того отпечатка, который должно положить на них участие в общей крупной работе. И прежде всего для нас интересно отношение такого писателя к этой общей работе. В воспоминаниях Шелгунова, а частью и в других статьях настоящего издания, читатель найдет и материалы для суждения о шестидесятих годах и самые его суждения. Я приведу лишь очень немногое, наиболее, мне кажется, общее или фактически наиболее выразительное, что может служить отправным пунктом для наших

собственных соображений. Но надо оговориться. В буквальном смысле слова Шелгунов воспитан не шестидесятыми годами, а предыдущей, тоже приснопамятной, николаевской эпохой. Но и как писатель, и как человек, он вынес из этого времени почти исключительно одни отрицательные уроки. Он говорит: «Дорожить нас не приучили ничем, уважать мы также ничего не уважали: но зато начальство старательно водворяло в нас чувство страха... Им (то есть чувством страха) у нас постоянно злоупотребляли. Когда же все общественные связи основаны только на страхе и страх наконец исчезает, тогда ничего не остается, кроме пустого пространства, открытого для всех ветров. И вот такое-то пустое пространство и открылось у нас. Но в пустом пространстве жить нельзя, каждому человеку нужно строиться; мы и начали строиться». Заключенная в этих немногих словах глубоко верная мысль требует лишь некоторого распространения и пояснения, чтобы ею вполне осветились значение и характер шестидесятих годов. Постараемся найти это распространение и пояснение у самого Шелгунова. Это нетрудно.

Школьные и служебные воспоминания Шелгунова почти сплошь представляют собою поучительнейшую картину той, по-видимому, необыкновенно стройной, цельной, однородной цепи отношений, которая составляла сущность тогдашнего русского общества. Это было действительно нечто очень стройное и цельное, а на иной глаз, пожалуй, даже обаятельное в какой-то своей художественной законченности: каждый был в этой цепи в одно и то же время восходящим и нисходящим звеном, каждый имел свое определенное место, на котором он трепетал перед одними, высшими, и заставлял трепетать других, низших. Сознательного исполнения долга «не только за страх, но и за совесть» здесь не было, потому что не было места ни личному убеждению, ни личному достоинству, ни вообще чему-нибудь такому, что могло бы пестрить картину и нарушать простую гармонию системы. Но она была уже слишком проста для такой сложной штуки, как человеческая жизнь и человеческое общество. Ее нельзя было предоставить самой себе, в расчете на силу первоначального толчка и силу инерции. Она требовала постоянной поддержки искусственными средствами, заимствованными, впрочем, из нее же. Шелгунов имеет полное право прибавлять эпитет «страшное» к ироническому выражению «доброе старое время». Да, «страшное доброе старое время»; не только потому, что и теперь страшно читать хотя бы в воспоминаниях того же Шелгунова, например, сцены жесточайших расправ с двенадцатилетними ребятами, но и потому, что все дело и в то-то время было в страхе. Рассказав один подобный случай, когда в дворянском полку директор Пущин засек воспитанника до смерти, Шелгунов прибавляет: «Пущин остался директором, чтобы не колебать дисциплины и уважения к власти». С точки зрения господствовавшей системы это было вполне последовательно. Пущин был виноват, но он совершил свою вину в качестве власти, а власть и вина были несовместимы в тогдашней системе, ибо, раз допустив критический разбор властного поступка, можно было опасаться умаления того исходящего от власти спасительного страха, на котором держалась вся система. Эта, логически необходимая, безнаказанность властных людей придавала им необыкновенную самоуверенность, делала их «выше ростом», по выражению Шелгунова, и весьма вероятно, что угрызения совести были им совершенно незнакомы даже в самых ужасных случаях, а иным, может быть, и воистину не из-за чего было угрызаться. Если, как рассказывали Шелгунову, два чиновника «умерли от страху» в ожидании предпринятой Муравьевым ревизии ведомства государственных имуществ¹²¹, то, собственно, в этих двух смертях Муравьев лично был ни при чем, хотя и раздавил две человеческие жизни одним своим именем. И, может быть, это были вовсе не худшие чиновники, которым грозила беда по заслугам. Вина и заслуга, как и все прочие виды добра и зла, теряли в то страшное доброе время всякое самостоятельное значение, преломляясь на совершенно, по нынешним нашим понятиям, неожиданный манер в призме господствовавшей системы отношений. Надо заметить, что случаи, рассказанные Шелгуновым, несмотря на всю свою выразительность, еще

далеко не самые ужасные. В своих воспоминаниях он лишь очень бегло, мимоходом касается крепостного права, с которым, по-видимому, и в жизни не имел близких соприкосновений. Но он хорошо понимает, что оно-то и составляло фундамент всей системы. Фундамент столь прочный, что даже всемогущий император Николай не находил возможным развалить его и, по собственному его выражению, лишь почитал должным передать это великое дело своему преемнику «с возможным облегчением при исполнении». И когда силою вещей наступил конец этому фундаменту, а вместе с ним и всей системе, то «ничего не осталось, кроме пустого пространства, открытого для всех ветров». Целые поколения с упорною последовательностью и исключительностью готовились к двойной роли: приказывающих и исполняющих приказания, и в результате получились настоящие виртуозы той и другой функции, изумительно приладившиеся к воспитавшей их системе. Но когда область двуединой функции сузилась и расшаталась, эти превосходнейшие в своем роде специалисты естественно должны были очутиться в положении рыб, вытащенных из воды, а о выработке того, что требовалось новым историческим моментом, – самостоятельной мысли, знаний, твердых убеждений, чувства собственного достоинства и признания такого за другими – система не заботилась и не могла по самому существу своему заботиться. Мало того, весь этот умственный и нравственный багаж пестрил систему, не допускавшую никакой пестроты, грозил ей разнообразными изъятиями и неудобствами, а потому или прямо преследовался как контрабанда, или содержался в сильном подозрении. Это было опять-таки вполне естественно и последовательно. Система, до такой степени законченная, должна была даже с преувеличенною чуткостью относиться к разным враждебным ей элементам. Системе, конечно, нужны были по крайней мере всякого рода техники, а положение великой европейской державы обязывало и к некоторой умственной роскоши, хотя бы только показной. Но даже самое невинное и чисто фактическое знание могло стать очагом критической мысли, а эта последняя была уже решительно враждебна системе, враждебна сама по себе как таковая, на что бы она ни была направлена. Поэтому все усилия были направлены на урезку даже фактического знания до возможного *minimum'a*, определить который было, конечно, очень трудно, и на придание этому *minimum'у* общей окраски двуединой функции, что отчасти и достигалось введением военной дисциплины в учебные заведения, готовившие к самым мирным занятиям. История русского просвещения того времени представляет высокий теоретический интерес в качестве огромного социологического опыта, к сожалению, слишком дорогого стоившего, но мы не будем разбрасываться и постараемся не отходить далеко от непосредственного предмета нашей статьи – сочинений Н. В. Шелгунова.

Вскоре после падения Севастополя Шелгунову было предложено место ученого лесничего в Лисинском учебном лесничестве. К сложным занятиям, сопряженным с этим местом, Шелгунов считал себя неподготовленным и потому лишь в том случае соглашался принять место, если его отправят предварительно (на его счет) за границу для ознакомления с тамошним лесным хозяйством. Шелгунов знал, чего стоят знания, приобретенные им в тогдашнем Лесном институте, но система находила, что этого вполне достаточно, и только после порядочной борьбы Шелгунов настоял на своем. Из заграничных воспоминаний его отметим следующую черту: «Я отыскивал сочинения о России, которой я не знал ни истории, ни географии». На первый взгляд это поразительно, почти невероятно: образованный русский офицер, в умственном отношении, очевидно, выдающийся, так как ему предложено было видное место ученого лесничего, а потом и профессора, добросовестный, так как не хватается сразу за видное положение, не знает ни истории, ни географии своей родины и за границей отыскивает сочинения о России! Казалось бы, парадоксальнее этого и выдумать ничего нельзя. Но тогдашняя Россия была переполнена подобными парадоксами. Уже в 1863 году, состоя под военным судом, Шелгунов разговаривал с одним из членов суда, моряком, капитан-лейтенантом, причем оказалось, что этот капитан-лейтенант и член суда по политическому делу

в первый раз услышал имя Стеньки Разина! Шелгунов сам говорит, что это может показаться невероятным, а тогда он так принял этот факт к сердцу, что под давлением его принялся писать популярную статью по русской истории («Россия до Петра Великого»). «И все это понятно, – говорит Шелгунов. – Я учился около того же времени, как и капитан-лейтенант и другие члены военного суда, а если и не совсем в то время, то, во всяком случае, при том же воспитательном режиме. И у нас не включался в курс русской истории Стенька Разин, не был известен и Пугачев, а еще меньше сообщалось о каких-либо народных волнениях (то есть, вероятно, второстепенных, местных). История, которой нас учили, была история благополучия и прославления русской мудрости, величия, мужества и доблести. Оканчивалась она царствованием императрицы Екатерины II, а все последующее время представлялась нам в виде туманного пятна с большим вопросительным знаком». Бунт Разина и пугачевщина скрывались, очевидно, ради крепостного права, составлявшего фундамент системы. Почиталось удобным замалчивать неприятные исторические факты, порожденные общественным строем, в общих чертах еще живым. Однако дело двусмысленного отношения к историческому знанию не ограничивалось этим специальным применением приема, напоминающего манеру страуса прятать голову и тем убеждать себя в отсутствии опасности. «Арсенал наших знаний, особенно общественных, был очень скуден, – говорит Шелгунов. – Было известно, что на свете существует Франция, король которой Людовик XIV говорил: „Государство – это я“ – и за это был назван великим; знали, что в Германии, и в особенности в Пруссии, солдаты очень хорошо маршируют; наконец, краеугольное знание заключалось в том, что Россия – страна самая большая, богатая и сильная, что она служит „житницей“ Европы и если захочет, то может оставить Европу без хлеба, а в крайности, если вынудить, то и покорить все народы».

Вот что знал средний русский образованный человек. Нам, позже выступившим в жизнь, трудно себе и представить, какая страшная, зияющая пустота должна была раскрыться перед умами людей, знавших это и только это, когда крымские неудачи и наконец падение Севастополя, последовавшие за колоссальным напряжением всех сил родной страны, показали, что «краеугольное знание» есть заблуждение. А это ошеломляющее открытие было чревато многими другими, подобными же. И наконец, вся так хорошо прилаженная, такая стройная, такая, по-видимому, прочная система оказалась одним громадным, сплошным заблуждением. Я знаю, что ныне многие вновь возвращаются к этим заблуждениям и видят в них истины, как будто история и не давала нам своих страшных уроков. Пусть. У нас теперь речь идет не о существе дела, а о состоянии умов тридцать-тридцать пять лет тому назад. Тогда русские люди фатально должны были признать заблуждением все то, что в предшествовавшую эпоху стояло вне всяких сомнений. Так должно было быть по логике событий, так и было в действительности. Кругом, куда ни взглянешь, оказалось пустое пространство, в котором надо строиться заново...

Страшное дело – строиться в пустыне. Сколько предстоит блужданий, напрасной траты сил, сколько риску и опасностей! Но великое счастье людей шестидесятых годов, счастье, которому могут позавидовать все последующие поколения, состояло в том, что у них была путеводная звезда, сиявшая ослепительно ярким блеском идеала и в то же время указывавшая обязательную практическую задачу, подлежащую немедленному решению. Эта путеводная звезда называлась «освобождение крестьян». Такие великие моменты редки в истории, это ее светлые праздники, но зато же они отражаются на всех сторонах жизни общества, которому выпали на долю, и, как благодатный дождь после засухи, вливают жизнь всюду, где ее осталось хоть малое, хоть чахлое зерно. Чтобы достойно оценить положение русского общества после падения Севастополя, сравним его с положением Франции после Седана^[3]. Обе страны вынесли тяжкие несчастья, обе получили жестокие уроки, обидные для национального самолюбия, но отрезвляющие и вынуждающие сосредоточиться

на реформах обветшалого общественного строя. Но Франция должна была еще пережить залитое потоками крови междоусобие и доселе не имеет определенной, концентрированной задачи, в которой высокие требования идеала сочетались бы с общепризнанной возможностью и необходимостью немедленного практического осуществления. Без сомнения, и во Франции, как во всякой цивилизованной стране, живут светлые и высокие общественные идеалы, способные окрылять мысль и чувство, но и об существе их, и о своевременности их реализации идут споры. Есть у Франции и такие задачи, которые сейчас достаточно назрели в общем сознании для практического осуществления, но между ними нет такой, от величия которой захватывало бы дух. У нас такая задача была: освобождение миллионов рабов; освобождение, возможность и необходимость которого сразу стали для всех ясны, хотя одни готовились встретить его с ликованием, а другие с трепетом и скрежетом зубным. Если оставить в стороне этих трепещущих и скрежежущих, которым было, конечно, невесело, то огромность счастья жить в такое время трудно даже оценить. И вот почему так скоро прошли печаль о крымских потерях и стыд за крымский позор. И вот почему не страшно было строиться в пустыне заново. Работа предстояла многосложная и трудная. Неотложность собственно юридического факта освобождения не подлежала никакому сомнению, и разве только какие-нибудь Коробочки, заплесневевшие в своих гнездах, питали смутную надежду, что авось Бог пронесет грозу. Но экономическая сторона дела, вопрос аграрный, финансовый, самые формы освобождения, вопрос будущего устройства крестьян – все это еще подлежало решению и допускало различные решения, в числе которых были и такие, которые могли бы свести «на нет» самые существенные стороны реформы. И разработкою этих сложных вопросов далеко еще не ограничивалась умственная пища, предложенная русскому обществу великим историческим моментом. Как уже сказано, крепостное право составляло фундамент всей системы, осужденной историей на смерть. Его дух, его образ и подобие отражались и во всем море государственной жизни, и в каждой малой капле составляющих его вод. Отношение государства к личности и ко всем функциям умственной, нравственной, политической, промышленной, гражданской жизни, отношения начальства к подчиненным, суда и следствия к преступнику, мужей к женам, отцов и воспитателей к детям – все было окрашено тем же цветом. Поэтому обществу и выразительнице его нужд, желаний и упований – литературе приходилось вырабатывать целое новое мирозерцание, которое обнимало бы и отвлеченные вопросы теории, и насущные вопросы практики. Дело трудное, но оно оказалось по плечу обществу и литературе.

Неумные и злобные люди, слишком крепко памятующие какую-нибудь свою личную обиду от толчка, данного русскому обществу в шестидесятых годах, или сами побывавшие в этом водовороте, но невыдержавшие, а потому страдающие, подобно большинству ренегатов, близорукостью, эти неумные и злобные люди часто хватаются за какую-нибудь частную ошибку или увлечение шестидесятых годов и празднуют по этому случаю легкую победу. Победа столь же легкая, сколько и нелестная. Если бы у этих людей было немножко побольше ума или немножко поменьше злобы, они поняли бы, что эти частные ошибки и увлечения должны быть поставлены на счет не шестидесятым годам, а предшествовавшей эпохе. Она подготовила и даже прямо создавала ту пустоту, в которой шестидесятым годам пришлось строиться заново, и если от нее сохранились материалы, которые можно было утилизировать в новом строе, то сохранились они отнюдь не благодаря, а, напротив, как раз вопреки ей. Белинский, Герцен, Грановский, вся так называемая плеяда знаменитых беллетристов сороковых годов, даже славянофилы – все это было не ко двору в свое время, все это едва терпелось в урезанном виде, а иногда и совсем не терпелось.

Мемуары современников сообщают такие, подчас комические, но, в общем, глубоко трагические подробности о положении русской критической мысли в течение целых десятков лет, что можно удивляться, как она совсем не атрофировалась. И, во всяком случае, при

этих условиях удивительно не то, что в шестидесятых годах были ошибки и увлечения. Когда их не было?! Они ведь, пожалуй, и теперь, в наше безошибочное время, найдутся. Удивительно, напротив, что и общие черты, и многие частности выработанного в шестидесятых годах мирозерцания доселе подлежат только дальнейшему развитию применительно к новым осложнениям жизни и к поступательному ходу истории. Удивительно то, что не было ни гроша и вдруг стал алтын. Это удивительное явление лишь отчасти объясняется личными достоинствами людей, выступивших к шестидесятым годам на арену общественной деятельности. Коренное же его объяснение лежит в удивительных свойствах задачи, развернувшейся перед обществом. Нынешнему, даже очень чуткому молодому человеку надо сильно напрячь свою мысль, чтобы вполне проникнуться потрясающим смыслом этих двух слов: «освобождение крестьян». Прекращение возмутительного систематического, правомерного насилия над миллионами человеческих существ; превращение миллионов живых вещей, подлежавших купле, продаже, залогу, обмену и проч., в миллионы людей; осуществление вековой мечты народной; конец вековым стоном, слезам и проклятиям – все здесь огромно даже в чисто количественном отношении: века, миллионы. И чтобы не выходить из области количеств, припомним, что всем этим векам и миллионам итог был подведен в четыре года (1857–1861).

Бывают эпохи, когда великие задачи, пожалуй, даже ясно сознаваемые, представляются чем-то вроде журавля в небе: когда-то еще его поймашь! А в ожидании можно и позевывать, любуясь на него, и всякими другими, не имеющими к нему никакого отношения делами заняться, так что идеал сам по себе, а жизнь тоже сама по себе. Бывают другие эпохи, которые суют людям прямо синицу в руки, и хотя синица – птица заведомо малая, но люди подкупаются ею и живут со дня на день малою и скудною жизнью, вполне, однако, довольные. Если продолжительное созерцание журавля в небе может приучить мысль к слишком отвлеченному парению и бесплодному идеальничанию, отлично уживающемуся с самыми разнообразными прохождением жизни *ici bas*¹, то синица в руках грозит черствым самодовольством и узкою практичностью в пределах вершков и золотников. Бывает, однако, и так, что ни журавля в небе, ни синицы в руках, а одно только тоскливое сознание отсутствия какой бы то ни было точки приложения для сил. Так было у нас в эпоху, предшествовавшую освобождению, когда, например, И. Аксаков^[4] с горечью восклицал: «Разбейтесь, силы, вы не нужны!» И вслед за тем эти ненужные, гонимые силы понадобились для осуществления грандиозной задачи, соединявшей в себе все выгоды журавля в небе со всеми выгодами синицы в руках, не имея неудобств того и другой. Кто хочет понять характер и значение шестидесятых годов, должен прежде всего остановиться на этом необыкновенно счастливым и чрезвычайно редком в истории сочетании идеального с реальным, головокружительно-возвышенного с трезво-практическим. Но прежде, чем войти в некоторые подробности этой коренной черты всей работы шестидесятых годов, черты, наложившей свою печать и на нравственные физиономии деятелей того времени, уясним себе еще некоторые обстоятельства.

¹ здесь внизу (франц.).

II

Дойдя в своих воспоминаниях до 1852 года, Шелгунов пишет: «С этого года мои личные воспоминания получают другой характер. Я вступаю в сношения с людьми, память о которых связана с лучшими годами моей жизни. И какая же это память, какая благоговейная память и как она дорога мне! Самая широкая гуманность и великодушные чувства нашли в этих людях лучших своих поборников. Если у меня старика, у которого уже нет будущего, бывают еще теплые и светлые минуты в жизни, то только в воспоминаниях о них».

Это благоговейное отношение не мешает, однако, Шелгунову понимать, что дело было не в личных достоинствах деятелей шестидесятых годов, а главным образом в условиях исторического момента, которые выдвинули на авансцену большие умы, великодушные сердца, крупные таланты. Но те же условия указали работу и менее одаренным, зажгли энтузиазм в равнодушных, придали силы слабым, просветили темных, поддерживали колеблющихся. Конечно, званых было много, а избранных, как и всегда, оказалось в конце концов мало. Конечно, энтузиазм равнодушных, силы слабых, равновесие многих колеблющихся, просияние многих темных не несли в себе залогов значительной прочности. Отнюдь не все, разбуженные и пригретые историческим солнцем, могли вполне и окончательно, на всю жизнь к нему приспособиться, так как прошлое их слишком мало для этого готовило, вернее, готовило совсем к другому, а в конце концов не приготовило ни к чему.

По справедливому замечанию Шелгунова, система николаевской эпохи, несмотря на свою стройность, законченность и кажущуюся прочность, сама в себе носила задатки собственного разрушения. Требуя повиновения (и предоставляя приказывать), система, собственно говоря, только на этом единственном пункте и вторгалась в душу. Что там, в этой душе, совершалось помимо формального исполнения приказа, до этого никому никакого дела не было. И потому там совершалось очень разное и подчас совсем неожиданное, проникавшее путем бесчисленных, неуловимых случайных влияний. Система воспитывала приказывающе повинующиеся аппараты, которые ни на что другое не были годны. Но при всех своих стараниях и при всей своей последовательности она не могла закупорить все щели, сквозь которые доносилось до нас дыхание европейской жизни, не могла также совершенно заглушить естественное, почти физическое тяготение человека к свету. Одним грубая и жестокая действительность говорила сама за себя, другие прилеплялись к европейской мысли, хотя бы урезанной и профильтрованной. Там и сям с огромными трудностями, под давлением всяческих кар, угроз и подозрений пробивались все-таки ростки самостоятельной жизни и критической мысли, которые система могла косить и опять косить, но которые она была бессильна вырвать с корнями. Да она об этом и не думала. Гордая своею художественною законченностью, система не добивалась чьего бы то ни было уважения, любви, сознательной преданности, она довольствовалась страхом и формальным исполнением приказаний. «Не рассуждай, а исполняй», – требовала система, требовала жестоко, неумолимо, не принимая в соображение никаких обстоятельств времени, места и образа действия. И потому случалось одно из двух: или душа опустошалась совершенно, превращалась в пустые рамки, катеты углов которых состояли из приказа и повиновения и которые не заключали в себе никакой картины, никакого образа и подобия; или же «рассуждение» и вообще внутренняя жизнь складывалась без всякого влияния со стороны системы: ей нечем было влиять. От разнообразных условий личной жизни каждого зависело, останутся ли приуготовленные для всех рамки совершенно пустыми или же чем-нибудь наполнятся, чем именно, – это было опять-таки делом разных случайностей. Понятно, что рамки сплошь и рядом не выдерживали чуждого содержания и лопались. Система в таких случаях сердилась и карала, а когда рамки оставались пустыми, она была довольна: все, значит, в порядке, все на своем месте.

На самом деле, однако, было не так: не все на своем месте было, а просто ничего не было. Ошибка системы – ошибка, часто повторяющаяся в истории и составляющая, по-видимому, даже необходимую принадлежность наиболее мрачных ее периодов, – состояла в уверенности, что опустошенные души являются лучшей опорой существующего порядка. Никогда этого не бывает и быть не может. Бесспорно, всегда найдется немало хорошо выдрессированных автоматов, которые даже лягут костями «без размышлений, без борьбы, без думы роковой», когда им прикажут лечь. Таких и воспитывала система, но она также должна была породить, и действительно породила, множество таких пустопорожних людей, которые, подобно пустым сосудам, лежащим на берегу реки, готовы наполниться всем, что донесет до них волна в половодье. Шестидесятые годы были настоящим весенним половодьем, и много пустых сосудов наполнилось, чтобы вслед за тем, конечно, опять опорожниться, но в ту-то минуту, в самый момент половодья они явились ярыми сторонниками нового течения и ярыми врагами породившей их системы, точно мстя ей за опустошение своей души. На самом деле ни сознания своей опустошенности, ни сознательного усвоения новых идей тут, конечно, не было; было только стадное увлечение и все та же привычка повиноваться, не рассуждая, хотя и формы, и характер повиновения резко изменились. Таковы обычные результаты систематического опустошения душ: при первом удобном случае жертвы опустошения с чрезвычайною легкостью проникаются враждебными системе элементами. Жестоко ошибаются те, кто ликует, при виде тиши и глади, господствующих в мрачные исторические периоды всеобщего обезличения и загона критической мысли. В этой тиши, под всеподавляющим гнетом дисциплины, копится материал, совершенно не соответствующий близоруким ожиданиям. Тихо-то оно тихо, но система, воспитывающая баранов, не должна бы, собственно, удивляться, когда в один прекрасный день все стадо шарахается в сторону. Так и было в шестидесятых годах, к великому, но совершенно неосновательному удивлению близоруких людей. Само собою разумеется, однако, что, количественно усилив своим персоналом новое течение и сослужив ему известную службу в отрицательном отношении, пустопорожние люди не были его украшением ни в смысле последовательности, ни в смысле прочности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.